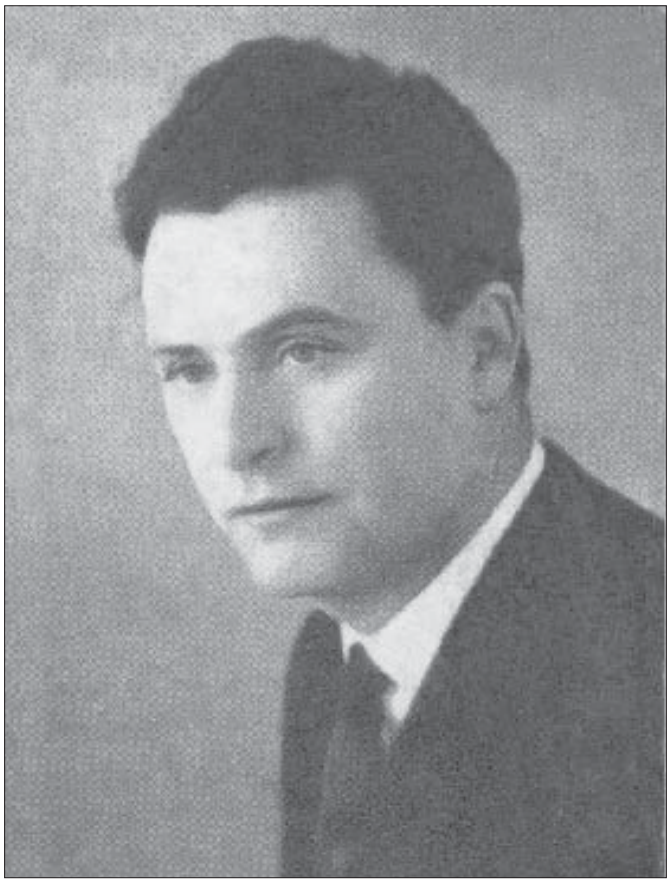
«Я родился среди книг»

ДЕСЯТЬ ЛЕТ назад в июне 1997 года не стало Марка Сергеева. Поэта, драматурга, декабристоведа, общественного деятеля. Просто любимого иркутянами человека.

Марком Давидовичем издано 94 книги – 71 из них в России, а 23 – за рубежом. На его стихи написали песни 28 композиторов, его работы опубликованы почти в 300 журналах, газетах и коллективных сборниках. О нём самом написано около 500 произведений – согласно библиографическому указателю о Марке Сергееве, подготовленному библиографами областной детской библиотеки и областной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского к 75-летнему юбилею писателя. С того времени, когда был составлен указатель, прошло шесть лет, и этот список уже можно дополнить многочисленными очерками и книгами об иркутском поэте... Мы хотели бы предложить нашим читателям выдержки из автобиографического конспекта, опубликованного им в одной из своих книг.



Я родился среди книг в старинном дедовском доме, и доныне стоящем на одной из тихих улочек города Енакиево, в Донбассе, с малолетства был представлен сам себе, и толстые фолианты, на плотных листах которых были запечатлены храмы всех народов земли, а также астрономические атласы, тома русской классики – всё больше нарядные приложения к журналу «Нива» – были первыми моими друзьями. Деда убили в девятнадцатом, когда город переходил из рук в руки, бандиты атамана Зелёного врывались ночами в дома, грабили, лишали горожан жизни, потом исчезали за левадами, а город хоронил свои жертвы.

Я рано – в три года – научился читать, потом, положив папиросную бумагу на титульные листы или обложку, перерисовывал карандашом заголовки – так постигал грамоту. Вскоре знал наизусть первые книги Агнии Барто, сказки Чуковского и Маршака, мог ли кто-либо предсказать, что через много лет я буду гулять по Переделкино и ворожить на поездах с Корнеем Ивановичем (это была его любимая игра), в Ялте слушать рассказ уже тяжело больного Самуила Яковлевича о конкурсе переводчиков Бёрнса в Англии, и выступать вместе с Агнией Львовной в Колонном зале Дома Союзов на заветном празднике – «Неделе детской книги»?

Первое моё сильное впечатление – это цирк. Ворота нашего дома выходили на базарную площадь – она то наполнялась возами с сеном и одеждой, корзинами со сливами и вишнями, розовыми шматами сала, глиняными петушками, владельцы которых свистом подзывали ребятню, – а то площадь пустовала, и закатные отсветы багрили её глиняный простор. А посредине высился брезентовый цирк-шапито, и мамин родственник был директором этого зовущего огнями и музыкой праздника. Я долгие годы хранил книжицу стихов, подаренную мне знаменитым клоуном Виталием Лазаренко, который прыгал на ходулях через несколько машин или, расхаживая по арене, играл на концертино и пел сочинённые тут же куплеты на злобу дня. Это была тоненькая брошюрка с портретом автора в клоунском колпаке на обложке, стихи были посвящены цирку и собственной судьбе клоуна...

...В 1932 году мы переехали в деревню Грузско-Зорянка, где отцу предстояло построить школу. Я забыл сказать, что отец мой был строителем, в те годы он строил в разных местах Донбасса школы, больницы, дома отдыха, но поскольку расстояния от Енакиево были небольшими, семья поначалу не ездила за ним, он возвращался домой на выходные. Но тут мы погрузили на линейку наш небогатый скарб – дедушкину библиотеку, рояль; друзья моего детства будут ждать меня, но судьба уже не вернёт меня на заросшие акациями тихие улицы с бархатной пылью, которую можно набивать в консервные банки и устраивать «дождь», в цирк, где другие мальчишки будут вертеться по целым дням в моей любимой конюшне и, если разрешат конюхи, чистить небольшой металлической щёткой спокойно стоящих, отдыхающих перед арённой гонкой лошадей...

...В деревне для меня было всё новое – и речка Зорянка, вытекающая из проёма в железнодорожной насыпи, и три крыла, из которых складывалось селение: украинские улицы, татарские и – чуть в отдалении – немецкая колония. Дома я говорил по-русски, с ребятами – по-украински, двуязычие это в Донбассе обычно и доныне, несмотря на сложные взаимоотношения между суверенной Россией и самостийной Украиной. Однажды с улицы я принёс домой две частушки – на русском языке и на украинском. Мне шёл седьмой год, посему политически я был малограмотным. Отец как раз пришёл на обед, хозяйка крайнего в деревне дома, где мы проживали, Анна Григорьевна Белокобыленко, наварила в ведёрном казане борща и, едва хозяйская и наша семья устроились за стол, я пропел своим незамутнённым дискантом:

На шестнадцатом
на съезде
Раздавали ордена:
Сталин взял себе
жилетку,
А Калинин – рукава.

И украинскую:

Як на хати сэрп
та молот,
То у хати – смэрть
та голод.

Тишина настала такая, что было слышно как на выгоне за деревней звенят коровьи ботала. Я взглянул на отца: лицо его стало серым, на нём был написан такой страх, что больше я ничего подобного не приносил никогда и до старости не повторял этих «страшных» частушек, пока не описал этот эпизод в 1991 году в книге «Надо мной не творите молитвы».

Под вечер на школе закричал сыч. И Анна Григорьевна, перекрестившись, сказала:

– Якщо сыч крычыть – обовязково бида будэ.

Отец принял эти слова на свой счёт. Но, к счастью, из хаты никто не вынес секрета. А назавтра и впрямь грянула беда.

В деревне не очень-то спрашивали, сколько тебе лет, когда записывали в школу: «Хлопчику чытаты та писаты вмие? Запышэмо!» Школа находилась в деревянном, изукрашенном резьбой бывшем помещичьем доме, а во флигеле размещалась амбулатория. День был апрельский, солнечный до ослепительности, и пространство меж двумя зданиями делилось резкой чертой на две равные половины – открытую лучам пришкольную, нестерпимо зелёную и укрытую тенью от флигеля приамбулаторную половину. Вдруг заскрипели телеги, мы ринулись к окнам, забыв об учительнице: с возов снимали людей и рядком укладывали в тень. Лица их были синими, глаза белыми – без зрачков, изо рта пузырилась пена.

Кто-то перепутал мешки, и фасоль, предназначенная для посева и потому протравленная, попала на обед, а чистая – в землю.

...Через год начался голод. Мы жили уже в Макеевке, городке, жизнедателями которого были металлургический завод и лежащие окрест шахты. В то время долгостроев не было, школу в Грузско-Зорянке сдали в срок, и вот теперь на окраине города отец строил больницу. По карточкам выдавали скудный паёк.

На трамвайной крытой остановке возле нашего барака лежала русоволосая девочка. Руки её дрожали, глаза закрывались толстыми вздувшимися веками. Лицо было синим, почти таким же как у тех, отравленных фасолью колхозников. Я помчался домой, распахнул шкаф, схватил полбуханки хлеба – наш дневной семейный паёк, ринулся к остановке. Девочка была мертва.

Она долго жила во мне, тысячи раз за долгие мои годы она напоминала о себе вдруг: на какой-нибудь крытой трамвайной остановке я мальчишкой испытывал нежданный испуг и боялся сесть на скамейку – там ведь девочка; полбуханки хлеба, отрезанные криво, могли вернуть меня в тот голодный год – надо отнести девочке.

Через много лет я написал о ней стихи. И мои более старшие товарищи-литераторы, московские мои друзья, не поняли их. Я потом оценю сардонические улыбки знающих какие-то тайны старших людей. Я-то, по наивности, верил, что вся причина голода, выкосившего миллионы людей, была в неурожае, в засухе. Как страшно было узнать правду: голод был организован советской властью! Обкормленный в летаргическом сне высокими истинами, за которыми, как выясняется всё резче, стояли фальсификация и неправда, советский карась-идеалист, я самым искренним образом оплакивал Сталина вместе с тысячами онемевших людей и даже, впервые в жизни, опубликовал стихи, ему посвящённые – «Девочка прощается с вождём». А мой дядя, муж сестры отца моего, крупный сибирский экономист, услышав первое же сообщение о кончине вождя, сказал многозначительно:

– Слава богу, этот усатый сатрап закрыл за собой дверь!

Через четыре года из лагерей вернулись его брат и сестра, о которых я ничего не знал, ещё позднее выяснилось, что была расстреляна и его старшая сестра, научный работник Иркутского финансового института...

Я многое узнал потом, увы.

Вдруг, исчез мой отец. Уехал в Москву по делам, в наркомат, и – ни слуху, ни духу. Мы с сестрёнкой всё спрашивали у мамы, когда же он вернётся. Но мама только разводила руками: откуда мне знать? А сама почему-то складывала наш небогатый скарб в сундук. Мы знали: ежели набивается сундук, а потом обшивается рядами – предстоит переезд. Этот короб два чемодана и баул, да ещё схваченная ремнями постель – всё, что у нас имелось. Мебель всегда была казённая.

Помню в те поры в газетах рекламировался приключенческий фильма о служебной собаке «Джульбарс», наконец, он пошёл в ближнем кинотеатре, и мы всем мальчишечьим двором ринулись на сеанс. В самый разгар захватывающих приключений раздался строгий мужской бас, требовавший меня на выход. Я, честно говоря, перепугался: что случилось? Перед входом стояла лошадка, запряжённая в линейку, меня подхватил кучер, и помчался наш экипаж рысью к вокзалу. Там уже на перроне волновалась мама: оказывается, ей отцов начальник Николай Иванович Облаев вручил утром билеты на поезд, мы должны были срочно отправляться в Москву и далее. Тут кинулись меня искать, хорошо кто-то во дворе знал, что все пацаны в кино.

Через много лет в Братске, где отец мой возглавлял экспедицию Мосгидэпа, проектирующую и принимающую готовые блоки всемирно известной Братской ГЭС, на Заверняйке, в бараке, который позднее был сожжён вместе с другими домами, когда Старый Братск ушёл под воду, я услышал подлинную подоплеку и этих событий 1936 года. В Донбассе шли аресты. Уже усилилась шпиономания. И вот вечером к нам пришёл Николай Иванович Облаев, они уединились с отцом в родительской комнатке, и Николай Иванович сказал отцу: «Давид, уезжай отсюда куда глаза глядят!» Из уст члена партии с дореволюционным стажем, украинского партизана, а в том, 1936 году, известного строителя слышать это было странно. Облаев разъяснил: на днях арестовали его фронтового друга, начальника треста, затем одного из его заместителей. Николай Иванович знал их с детства, был глубоко убеждён, что они чисты перед властью, он думал, что речь идёт о чьём-то злобном навете. Он полагал, что следующая очередь за ним, а затем и за отцом. Вот почему так таинственно и торопливо погрузились мы в поезд – и вынырнули на Дальнем Востоке.

Был 1937 год. Страна была наполнена Пушкиным. Шёл кинофильм «Поэт и царь», по радио звучали арии из пушкинских опер и романсы на его стихи, в книжном магазине появлялись всё новые издания поэзии, прозы, драматургии русского гения, «Пушкинский календарь», снабжённый множеством иллюстраций, в газетах – статьи и подборки материалов занимали целые полосы. Готовилась и наша начальная школа. Четвероклассники под руководством учителя ставили «Сказку о рыбаке и рыбке».

...Шёл февраль. Приближалось десятое число: день смерти Пушкина.

Девятого мы лихорадочно заканчивали генеральную репетицию Пушкинского вечера – она затянулась, школа ведь была набита, как коробушка, репетировать можно было лишь после второй смены. Вечером, уже было темно, мы – дети строителей – ватагой возвращались в свои бараки... Мела пурга. Дальневосточная. Со снегом, стоящим стеной от земли до неба, с ветром, сшибающим с ног. Мы шли гурьбой, взявшись под руки, пробивая ревущую кутерьму. Наконец, и наши бараки. Я, как обычно, пошёл не по дороге, а по тропинке, уже почти занесённой пургой. И вдруг оказался на дне ямы, которую вырыли для электрического столба. В те поры такие ямы копали обычной лопатой, стены ладили по отвесу. Выбраться из ямы я никак не мог, поплакал, представил, как завтра меня найдут родители в свежезамороженном виде, и от нечего делать, стал сминать в ладошках снег, наполнивший яму. И тут меня осенило: из снега можно слепить ступеньки и выбраться наружу. Так я и сделал. И когда выбрался из ямы и отправился домой, на меня что-то нашло: сами собой стали рождаться строки:

Как-то шёл я прямо
В главные ворота,
И попал я в яму
Возле поворота...

И так эта замечательная рифма варьировалась, пока я не ступил на порог нашего барака и не пропел:

Не ходил я больше
В главные ворота,
И не падал в яму
Возле поворота.

Однажды я, естественно с большими юмористическими подробностями, стал рассказывать эту историю в слюдянской школе. Ребятишки развеселились и стали показывать на одного парнишку. «В чём дело?» – спросил я. «Да он у нас с забора свалился и теперь сказки пишет». С тех пор я всем советую: прежде, чем заняться литературным трудом, нужно хоть откуда-нибудь упасть.

Мог ли я подумать, выбираясь из ямы, что именно в этот момент решилась моя судьба: поэзия станет моей жизнью.

После окончания работы на Дальнем Востоке (отец ещё строил известковый завод на станции Варвара-полье, ныне – Известковая) родители получили назначение в Иркутск, а нас с сестрёнкой временно отвезли к тётушке в Киев.

...В пятом классе Пушкин преподал мне нравственный урок. Наш учитель Иосиф Владимирович прочитал нам стихотворение Пушкина «Песнь о вещем Олеге» и предложил написать изложение: передать сюжет своими словами. Я тут же раскрыл чистую тетрадь и всю её исписал за урок поэтическими строками. Гордый своим подвигом, я сдал тетрадь и стал ждать похвалы – всё же не каждый пишет в нашем классе стихи! Вот дня через три приносит наш учитель стопку тетрадей. Читает лучшее изложение – не моё. Читает худшее – (была у него такая манера) – не моё. «А у меня что?» – спрашиваю. «А у тебя посредственно!». «Что много ошибок?». «Ни одной». «Тогда почему?». «Видишь ли, Марк, в стихах на отлично это писал Пушкин». Господи, как мне было стыдно. Какой нравственный урок мне преподан так спокойно! Прошли десятилетия, а я его помню:

Написал тайком стишок,
листик заслоня.
Пушкин, Лермонтов и
Блок –
впереди меня:
мне от них
тревожный свет,
что сродни огню...
Сколько б я ни прожил
лет –
их не догоню.

Моя тетрадь, между тем, наполнялась любовными стихами. Я прятал её под матрац своей кровати. Но однажды, вернувшись из школы, в канун выходного, я увидел, что вся мебель в комнате перевёрнута вверх тормашками: тётушка собиралась белить. Но побелка задержалась: была найдена моя «потайная» тетрадь.

Ко мне относишься ты
хладнокровно,
Подруга детства,
юности весны.
А сердце у меня давно
не бьётся ровно,
И снятся мне давно
плохие сны! –

читала тётушка и обливалась слезами: жалко было племянника, а вдруг он от избытка чувств что-нибудь сотворит. С этого момента неровно стало сердце биться сердце не только у меня, Но и у тётушки. Она написала в Иркутск моим родителям пугающее письмо – и меня за лирические стихи, как я обычно шучу, «сослали» в Иркутск.

8 августа 1939 года я вступил на иркутскую землю, и это был день моего второго рождения: закончилась жизнь кочевая – началась оседлая, появился в жизни мой город, каждый дом которого, каждый камень, каждое дерево открывают мне свои тайны – не сразу, постепенно, день за днём, год за годом. Здесь учительница литературы Елизавета Романовна Смолянская первой из учителей читала мои стихи, и в газете «Иркутский железнодорожник» в январе 1940 года была помещена подборка сочинений ребят из литературного кружка, которым руководила Елизавета Романовна, и среди них – мои не ахти какие строки. Но теперь мой литературный стаж исчисляется от этой скромной публикации.

Здесь в июне 1941 года, за две недели до войны, мы – старшеклассники 21-й школы – садили тополя. А вскоре многие из нас ушли на войну, я, по возрасту, – лишь в 1943-м. Не все из моих школьных друзей вернулись с фронта. А тополя остались. А позже родилось и стихотворение моё, посвящённое памяти мальчишек-иркутян – «Баллада о тополях». И появился у здания бывшей нашей школы скромный мемориал, у которого ежегодно 8 мая собираются земляки, дабы почтить память школьников, из старших классов шагнувших в пекло войны.

Здесь завод, в цехах которого я четырнадцатилетним отроком работал на лесопилке, изготовлял с ватагой ребятишек противотанковые мины. Здесь на могилах Иерусалимского кладбища, которое тогда ещё не было кощунственно переделано в парк, мы готовились к экзаменам или, одурманенные чёрёмуховым ароматом, целовались, и, должно быть, те, что упокоены там с XIX века по начало нынешнего, – если верить, что душа не умирает, – вздыхали, вспоминали о своей юности, о своей любви. Здесь я стал студентом университета, и нашими учителями были люди светлые и выдающиеся – Марк Константинович Азадовский и Фёдор Александрович Кудрявцев, Соломон Яковлевич Лурье и Моисей Андреевич Гудошников, внучатая племянница Тургенева Ольга Игоревна Ильинская...

Отсюда ушёл я в армию в 17 лет, сюда вернулся. Здесь закончился путь моего отца, хотя и похоронен он в Москве, здесь в ледяной братской земле, лежат мои мать и сестра. Здесь я встретил свою жену, явились в мир дети и внуки. Но не случайно я столь подробно остановился на эпизодах детства, многое определившего во всей моей судьбе. Так постепенно вырисовывались три главные линии, которыми связаны все мои книги, фильмы, пьесы, телевизионные циклы: Сибирь, Пушкин, декабристы.

Бес – в ребро,
а снег – в виски,
сорвана броня.
Вот уже ученики –
впереди меня.
И свидетель их побед,
я себе не лгу:
сколько б я ни прожил
лет –
я у них в долгу.

Май–июнь 1995 года